

НОННА МОРДЮКОВА



НЕ ПЛАЧЬ,
КАЗАЧКА!

КОНТУР ВРЕМЕНИ

Нонна Мордюкова

Не плачь, казачка!

Серия «Контур времени»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42240051

Н. В. Мордюкова. Не плачь, казачка!: ООО «Издательство АСТ»;

Москва; 2018

ISBN 978-5-17-108034-1

Аннотация

При упоминании имени Нонны Мордюковой перед глазами сразу встают образы ее героинь из кинофильмов «Молодая гвардия», «Простая история», «Женитьба Бальзаминова», «Бриллиантовая рука», «Русское поле», «Возврата нет», «Они сражались за Родину», «Мама»... Эти героини – женщины яркие, колоритные, с характерной запоминающейся речью – снискали Нонне Мордюковой славу и всенародную любовь. Актрисе с одинаковым успехом удавались роли в экранизациях классики и современных кинокартинах, героических эпопеях и семейных мелодрамах, в комедиях и трагедиях. Такова и ее книга – веселая, светлая и грустная одновременно. В ней рассказывается о детстве и юности, о творческой и личной жизни, о любимых фильмах и о простых русских людях, у которых актриса черпала духовные и душевные силы. Читатель встретится здесь и со знаменитостями кинематографа: С. Герасимовым, В. Тихоновым,

С. Бондарчуком, В. Шукшиным, Г. Чухраем, Н. Михалковым...
И конечно, удивится легкому повествованию и сочному языку
Н. Мордюковой, которая слыла замечательной рассказчицей.

Содержание

Кинозвезда, но в душе казачка	6
Часть I. Вот так и живем	21
Река Уруп	21
Это волшебное слово «фуэте»	33
Ленинградцы	37
Дети и горе	52
Война и жизнь	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Нонна Мордюкова

Не плачь, казачка!

© Н. В. Мордюкова (наследники), 2018

© Л. В. Мордюкова, предисловие, 2018

© Н. В. Катаева, послесловие, 2018

© Киноконцерн «Мосфильм» (кадры из фильмов)

© ООО «Издательство АСТ», 2018

*** * ***

Кинозвезда, но в душе казачка

Я глубоко убеждена – мою сестру Нонну Мордюкову не во ВГИКе научили актерскому мастерству, она с ним родилась. Вспоминаю одну жуткую историю из нашего военного детства. Нонна тоже приводит ее в своей книге, но очень кратко, я же расскажу, как запомнилось мне. Нас в семье было шестеро: два брата и четыре сестры. Мама наша была очень активной: коммунистка, до войны поднимала колхозы, потом в городе Ейске работала секретарем горкома партии.

Когда немцы подошли к Ейску, мама зашила партбилет в юбку, погрузила нас на телегу, и мы поехали куда глаза глядят – прятаться. Но немцы дорогу уже перекрыли и сам город заняли. Была зима, по пути нам встретилась заброшенная маленькая сторожка: открываешь дверь, за ней – комнатка, и больше ничего. Вокруг стояли амбары с семечками и кукурузой и скирды соломы. Деваться нам было некуда, и мы поселились там. Вскоре и туда пришли немцы. Оставили полицаев, а сами двинулись дальше – завоевывать.

Боялись мы страшно, ведь расстреливали как раз коммунистов, а еще партизан и евреев. Рядом была речка с крутым склоном на другом берегу, и мы не раз видели, как немцы ставили на обрыв целые семьи, расстреливали и тела падали вниз. Были в округе и партизаны, они иногда приходили к нам из леса погреться. Мама как член партии считала

своим долгом им помогать. И вот однажды пришли из леса трое. Мама затопила печку соломой, накормила их, напоила. И тут к нашему дому подъезжают полицаи. Один партизан зарылся в семечки, второй спрятался в стог сена, а третий говорит: «Я никуда не пойду, мне снилась церковь, меня все равно убьют». Мама умоляла его: «У меня дети, не губи нас, иди где-нибудь спрячься». – «Нет», – говорит, и все. Отвернулся и лежит. И тут Нонна – ей только 16 лет было, но вот что значит актриса от Бога! – быстренько надевает пальтишко, выходит на улицу и как будто не замечая, что полицаи вокруг, начинает перекидывать сено вилами, еще и песенку напевает.

В это время полицаи верхом на конях окружают ее. Спрашивают: «Дочка, кто в доме?» А она с наивным и беспечным видом разворачивается к ним и говорит: «Мама и дети, заходите, дядя». При этом достает из кармана семечки и лузгает. А мама нас маленьких в окошечко выставила, как будто мы любопытствуем, что там происходит. При этом только и думаем, что за нами партизан лежит. Тем временем полицаи спрашивают у Нонны: «Чьи это следы на снегу? Кто к вам в дом приходил?» Она абсолютно спокойно отвечает: «А это мы с братом хворост собирали, печку топить». И так это она все убедительно сыграла, что ей поверили и в дом не зашли. Каково ей было в этот момент – даже представить невозможно...

Когда немцев из Ейска вышибли, наша семья вернулась

в город. Там все было практически полностью разрушено. Нам отдали чудом сохранившийся купеческий дом на улице Энгельса. С ним связана такая история: когда мы выехали из этого дома, там поселился директор ресторана и начал делать ремонт. При этом в стене нашелся сундучок с кладом. Бывший владелец дома – купец – был репрессирован и погиб в ссылке, а богатства свои успел замуровать. Когда власти узнали про клад, бросились искать, не спрятано ли еще что-нибудь в доме.

В итоге нашли два клада, но дом по кирпичику разобрали, разрушили до основания. Получается, мы сидели на бриллиантах и золоте, а питались при этом одной кукурузной кашей. Первые послевоенные годы были очень голодными. Мы едва сводили концы с концами, так еще и посылали Нонне во ВГИК посылки с кукурузной крупой. Все студенты очень ждали этих посылок, так как тоже голодали. Дошло до того, что Нонна с соседками по общежитию старались больше лежать, чтоб сэкономить энергию, и съели весь клей на основе крахмала, который им выдали для заклейки на зиму окон.

После войны Нонна сразу поехала поступать во ВГИК. Это ей Сергей Бондарчук посоветовал, он когда-то с Нонной учился в одной школе и вот приехал из института на каникулы, встретил Нонну и говорит: «Поезжай в Москву поступать, только маме не говори». Она и не сказала, мама думала, она в Ростов едет, в педагогический институт. А они с Сергеем после Ростова втихоря сели в товарный вагон и че-

тыре дня тряслись до Москвы. Нонна приехала поступать в одном платишке – «татьянке» (такое с коротенькими рукавичками, пышными, на резиночке), а август в Москве в тот год выдался очень холодным. Первую ночь в столице Нонна ночевала на вокзале.

Во ВГИКе выяснилось, что первые отборочные туры уже закончились, шел третий. О своем поступлении Нонна подробно рассказала сама, так что повторяться не буду, скажу только: ее взяли, потому что талант врожденный.

Со временем, благодаря Нонне, вся наша большая семья перебралась в Москву. Сначала мы с мамой просто приезжали к ним со Славой Тихоновым – они жили тогда на Пироговке в одной комнатке в коммуналке. И Слава, кстати, никогда не был против, чтобы мы у них останавливались. Он и сам приезжал с Нонной к нам в Ейск на каникулы. Мои одноклассники на меня прямо молились, что я каждый день вижу самого Тихонова. Все влюбились в него после фильма «Максимка», и наши девчонки висели на заборе, подглядывали за Славой.

Потом мама всех нас вывозила в колхоз работать. Тихонов абрикосы собирал, помидорчики, все это в ящички укладывал. Каждая бригада жила в отдельной комнате. Мы – всей семьей: Нонна со Славой, мама, я, младшие брат и сестры. Помню, нарвем душистых цветов – горошка, ромашки, разложим на полу рядочками и сверху стелем белую простыню. И на этой постели все спим. Мама все хотела Славу куда-ни-

будь переселить, чтобы ему было попросторнее. Говорила: «Слав, что ты будешь в этой куче-мале...» Но он не соглашался: «Я хочу с Нонной дышать одним воздухом». Тихонов такой был счастливый в эти дни! И очень румяный от свежего воздуха, от фруктов, от кубанского изобилия. В эти годы мы стали его настоящей семьей. Он же рос в Павловском Посаде единственным ребенком в семье за высоким забором. Мама его – Валентина Вячеславовна – была очень строгой, она никуда Славу не пускала. Ему хотелось играть с мальчишками, а она говорила: «Нельзя!» И вдруг у Тихонова появилась семья, мы на него вешаемся.

Он с нами, детьми, и в казаки-разбойники мог поиграть, побегать – любил игры: и детские, и взрослые. Нонна всю жизнь дружила с Лорой Кронберг и ее гражданским мужем шахматистом Михаилом Талем. И Миша Таль, будущий чемпион мира по шахматам, охотно играл со Славой, находя его достойным партнером. А с самой Лорой он играл в покер с джокером...

Следует рассказать, как мы перебирались в Москву. Сначала уехала мама. Сказала мне: «Доченька, я под Москвой устраюсь агрономом и через годик за вами приеду». Видимо, она уже знала, что смертельно больна, ведь мама скончалась в 55 лет. Нонна, чтобы ей помочь, взяла к себе жить среднюю сестру Наташу. А младшие остались со мной, хотя мне тогда было всего 12 лет. Я их утром будила, отводила в детский сад и школу, на рынок бегала, хлеб пекла, готови-

ла обед, на мельницу ходила, где зерно мололи, обстирывала себя и их, убиралась. И учиться успевала хорошо. Так и прожили год. Вдруг мама пишет: «Доченька, я еще не устроилась, мне негде жить, еще годик потерпи». И вот наконец она за нами приехала. Я прихожу в школу и говорю: «Отдайте мне документы, мы в Москву уезжаем. Мама за нами едет». – «Откуда едет? А где же она была?» – «В Москве». – «А сколько же вы прожили одни?» – «Два года», – говорю. Тут голос у учительницы пропал, она куда-то убежала, потом привела всех учителей, а у них слезы на глазах. А я думаю, чего они режут, все же нормально...

Какое-то время мы прожили на съемной квартире под Павловским Посадом. Затем нам дали барак под Люберцами, и там умерла мама. И лишь потом уже нашему старшему брату Гене, он работал в КГБ, дали большую квартиру в Люберцах, мы с братом и сестрой поселились в ней. Там я окончила школу и поступила в институт в Москве. Тут Нонна мне и говорит: «Переводись на вечерний, будешь со мной в киноэкспедиции ездить». И я стала дублировать актеров на съемках, сниматься в массовках.

Летом 1964 года работа для меня нашлась сразу в трех фильмах, которые снимались в Суздале: «Метель», «Женитьба Бальзаминова» и «Царская невеста». В последнем я дублировала актрису, исполнявшую роль Домны Сабуровой. А в «Метели» не только дублировала Валю Титову в роли Марьи Гавриловны, но еще и гусара сыграла. Я же занима-

лась верховой ездой, на лошади ездить умела. Вот мне приклеили усы, волосы убрали под кивер – и я поскакала в задних рядах среди гусар, пока конь меня не скинул...

На съемках «Женитьбы Бальзаминова» режиссер Константин Воинов меня спрашивает: «Ты проститутку сыграешь?» Я покраснела, говорю: «Нет». И он пригласил на эту роль Наталью Крачковскую. Зато я сыграла барышню в эпизоде в саду Белотеловой (роль Нонны), а еще нищенку и монахиню. Однажды я сорвала дубль. Снимали, как Бальзаминов лезет в сад через забор в костюме трубочиста. Барышням из групповки выдали разноцветные платья на кринолинах, платки, заплели косы. Я там среди прочих сижу и вышиваю на пяльцах, меня хорошо видно в кадре.

И вот по сценарию мы все должны были испугаться Бальзаминова и с визгом броситься в пруд. Подбегаем мы в этих кринолинах к берегу, и тут я вижу, что в воде полно пиявок. Говорю: «Не полезу». Но из-за того, что до этого я уже попала в кадр, без меня эту сцену нельзя было снимать. Так что мне соорудили деревянный помост, поставили там табуреточку, на лодке меня подвезли, и я на эту табуреточку встала. И когда все прыгнули в воду, я вместе со всеми орала. Смотрелось так, будто я раньше всех прыгнула.

В этом эпизоде была сцена, которую вообще снимали 28 дублей подряд: поцелуй Вицина с Нонной. То Воинову что-то не нравилось, то у операторов шел брак. В итоге почти смену на это потратили, Вицин весь был исцарапан, так как

из забора, у которого снималась эта сцена, гвоздь торчал, а лицо его в итоге стало красным от крепких Нонниных поцелуев. Вицину было уже 47 лет, помню, как он все время ходил по городу с тросточкой – репетировал. Еще он тогда йогой занимался и в перерыве всегда где-нибудь уединялся, чтобы сделать упражнения. И Воинов в рупор на весь город кричал: «Гошка, йог проклятый, ты где там опять?»

Все знали, что у Воинова роман с Лидией Николаевной Смирновой, игравшей сваху. Но хозяйкой на площадке она себя не чувствовала, напротив, режиссер часто был к ней беспощаден. Например, сцену, где она ест пироги, у оператора все никак не получалось снять, плохо работала камера, пришлось сделать 13 дублей. А я в этот момент работала реквизитором и бегала в пекарню докупать эти пироги. В итоге 13 кусков пирога Лидия Николаевна съела, ей потом очень плохо было. А Воинов еще и кричал на нее при этом. Как режиссеры порой издеваются над теми, кого они любят...

На съемки фильма «Женитьба Бальзаминова» Нонна приехала с Борей Андроникашвили, своим гражданским мужем, который был ее на девять лет моложе. Он очень любил Нонну, называл по-грузински «Богиня». А она его за глаза называла «Князь»: он действительно был княжеских кровей, его мать происходила из рода грузинских князей Андроникашвили, и Борис взял ее фамилию, а не отца – репрессированного писателя Бориса Пильняка.

Долгое время дома у нас была идиллия, Боря с Нонной

прожили шесть лет. Он очень любил Володю, приучил его читать. Я сама перечитала очень многое из Бориной библиотеки, и Нонна тоже, так мы самообразовывались. У нас в доме было очень интересно жить, и все было бы хорошо, если бы только Борис еще и деньги зарабатывал... Он всё сценарий писал, да так и не дописал. И при этом он Нонну страшно ревновал. Однажды на каком-то банкете после успешной сдачи фильма в Госкино кто-то из мужчин по-дружески хлопал Нонну по щеке. Две недели Андроникашвили потом ее мучил. Уж очень темпераментный был: прибежал домой белого цвета, садился, потом снова бежал на улицу, метался как зверь, опять возвращался, все думал, может, ее кто-то подвезет и он их застанет вместе. У них в комнате сервант стоял зеркальный, и я, когда пробежала по коридору, в его отражении через открытую дверь видела все Борины мучения. Но если ты женщину любишь, так сделай для нее хоть что-то. Ни-че-го! И вот однажды приходит Нонна в Дом кино и встречает свою подругу – Люду Хитяеву в шикарной шубе. А у той был гражданский муж – гонщик, который хорошо зарабатывал. Нонна на Люду посмотрела и в первый раз задумалась о том, что содержит мужчину, который обожает банкеты, вечеринки с друзьями, а ни копейки в дом не приносит.

Сама-то Нонна постоянно ездила на гастроли от Бюро пропаганды, зарабатывала деньги, таскала с собой коробки пленки с фрагментами из фильмов, «колеса», как она их на-

зывала. Кормила и поила всю семью. И вот стоило ей уехать, как Боря вставал с дивана, собирал пивные бутылки, которые до этого копил, и бежал сдавать, а потом куда-то исчезал на пару дней. Я думала поначалу: не буду вмешиваться, а потом не выдержала и Нонне об этом рассказала. И она опять задумалась. И потихонечку стала его отдалять от себя, а потом резко сказала: «Всё, уходи!»

К сожалению, своего женского счастья Нонна так и не нашла. Слава Тихонов, хоть по характеру был и слабоват для нее, во всяком случае был хорошим семьянином, все нес в дом. Но Нонна тогда была молодая и не оценила, лишь потом пожалела о Славе, когда попробовала строить жизнь с другими. Хотя сестра и считала, что Тихонов ее по-настоящему никогда не любил. Не знаю, мне так не кажется.

Расскажу про один ее несостоявшийся роман, о котором никто не знает. Были мы с ней в киноэкспедиции картины «Возврата нет», а там играл Владислав Дворжецкий. Жили в провинциальном летнем пансионате, который находился на берегу реки Северский Донец. Помню проявления огромной народной любви к Нонне на тех съемках. Вот подъезжает к нашему домику трактор с прицепом. Я, как всегда, во дворе что-то готовлю (печь стояла прямо на улице).

Меня спрашивают: «Здесь Мордюкова живет?» – «Да, в этом доме». – «Ну, тогда здесь разгружаем». И начинают из прицепа выгружать арбузы, целую гору! Нонна с Владиславом возвращаются со съемок, а тут их уже арбузы ждут. В

другой раз мужики тащат лодку из реки и кричат: «А Мордюкова тут близко живет?» Я говорю: «Да, вот здесь». Они мешок раков вываливают передо мной. Я – в ужасе! Хорошо, как раз у Дворжецкого был перерыв, и мы с ним давай этих раков собирать, они же расползаются. Он их, помню, так ловко хватал и кидал сразу в кастрюлю.

Между Нонной и Владиславом возникла некая симпатия, взаимное притяжение. В этом же фильме снималась Татьяна Самойлова, которая была тайно влюблена в Дворжецкого. И вот однажды Нонна с Владиславом сидели в домике, она что-то рассказывала, а он все больше молчал. Но если уж что-нибудь скажет, то очень остроумно. И вдруг Татьяна Самойлова открывает окно снаружи и, как кошка, выпрыгивает в комнату. Усаживается между Нонной и Владиславом. А перед диваном стоял столик, на нем какие-то закуски, остатки обеда (я постоянно им кубанский борщ в этой экспедиции готовила в огромной кастрюле, вся группа мои борщи ела). И вот Самойлова упирается двумя ногами в край стола и опрокидывает его, все летит на пол. Так она ревновала...

А у Нонны с Владиславом дальше симпатии дело не пошло. Поехали они однажды в соседний поселок на машине. И Дворжецкий увидел там в магазине женское платье, купил. Нонна прямо спросила: «У тебя есть дама сердца?» Он ответил уклончиво: «Ну, там...» Но сестре было достаточно, она в этом отношении очень щепетильная была, никогда не вклинивалась в чужие отношения...

Ухаживал за Нонной и молодой артист Юрий Каморный. Он ее очень настойчиво добивался. Даже комнатку снял неподалеку от нас, чтобы за Нонной следить и подкарауливать ее. Разница между ними была 19 лет, и Нонна из-за этого очень комплексовала. Помню, пошли мы все вместе в Дом кино, Нонна с Каморным рядом. И вдруг подходит к ним одна актриса и говорит: «Нонн, привет. Ой, Вовочка, как же ты вырос, какой стал хорошенький». То есть приняла Юрия за сына Мордюковой и Тихонова. Нонна своего спутника ткнула в бок: «Понял? Ты понял, что так будет всегда?!» Напрасно Юрий ее утешал: «Нонн, ну ладно тебе, поговорят-поговорят и перестанут». И вот однажды я занималась в комнате с Володей, уроки у него проверяла. А в другой комнате Нонна с Юрием выясняли отношения. Вдруг слышу: бах! И Нонна закричала. Я подумала, может быть, ваза упала. Прибегаю, а у Каморного из руки кровь хлещет. Оказывается, он принес пистолет и сказал Нонне: «Выйдешь за меня? Если ты мне откажешь, я в себя выстрелю». Она ответила: «Нет». Не поверила. Слава богу, пуля прошла навылет, еще и дверь задела. Стали мы перекисью останавливать кровь. «Скорую» вызывать нельзя – выплывет, что в доме у Мордюковой «огнестрел». Жуткий вышел бы скандал. И неприятности брату, служившему в Германии по линии КГБ. Пришлось самим справляться. Юрий сильно побледнел, крови потерял много, губа нижняя дрожит – судорога. И вдруг он говорит: «Нонна, если ты мне откажешь, я и вторую руку прострелю». Она

кричит: «Все, уходи, видеть тебя не могу!» Но не выгнала в тот день, оставила у себя – куда же ему идти в таком состоянии. Рука его зажила потом, все обошлось.

Через какое-то время он нам звонит, приглашает куда-то. Нонна говорит: «Ну, давай съездим, слава богу, не к нам домой просится». Приезжаем мы на какую-то квартиру, а там из Большого театра балериночки, такие хорошенькие, молоденькие, стройные. И среди них Юра – один парень. Мы заходим, Нонна очень красивым движением скидывает шаль и говорит: «Здравствуйте, а что молчим? Давайте поговорим о том, о чем вы молчите!» И тут же еще шутку какую-то следом, и уже все смеются, обстановка разрядилась. Помню, как Юра с гордостью и восхищением говорил: «Вот видите, она такая, я же вам говорил». И повторял это весь вечер – так был влюблен мальчишка...

Последние годы Нонна очень болела. В какой-то момент попала в ЦКБ. Кто-нибудь из родственников у нее все время дежурил. Я ее спрашивала: «Нонна, скажи, что ты хочешь?» Я все время задавала ей такой вопрос. Один раз она мне сказала: «Я очень хочу прозрачные ажурные перчаточки, чтобы надевать их, когда меня в больницу кто-то навестить приходит». Я ей достала такие, хотя найти ажурные перчатки оказалось не так просто. И Нонна любила их надевать и смотреть на свои руки...

Я бесконечно радуюсь тому, что сестру помнят и любят зрители. Осенью 2017 года кубанское землячество мне вру-

чило документ, в котором написано, что решением общественно-государственного Экспертного совета по проведению поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» Нонна Викторовна Мордюкова удостоена почетного титула лауреата в номинации «Духовное имя Кубани». Она вошла в десятку лучших людей Кубани. В Ейске Нонне стоит памятник. Скульптор изобразил ее в том самом платье-«татьянке», в котором Нонна приехала поступать в Москву. Недалеко от него – памятник Бондарчуку. Но он поднят, на двойном постаменте, а у нее – три ступенечки, она сама на третьей сидит, а ноги ее, босые, на первой и второй расположены, и все желающие забираются к бронзовой Нонне на колени и фотографируются. Уже бронза от народной любви блестит.

Давно стало доброй традицией для брачующихся пар и гостей города – сфотографироваться с Нонной Мордюковой. Я один раз прихожу к памятнику, а на ногах ногти покрашены. Кто-то сделал Нонне педикюр. Я побежала, купила целую бутылку ацетона и давай этот лак снимать. Звоню возмущенная сестре Наташе, а она говорит: «Зачем стираешь, оставь, Нонне бы понравилось!» Тут смотрю, на колени к Нонне мужик забирается, а жена его вокруг бегаёт, фотографирует. И я, уже и так расстроенная, говорю: «Мужчина, вы же сели к женщине на колени, еще и улыбаетесь». А Наташа в трубку услышала и опять меня успокаивает: «Не сгоняй его, Нонна бы довольна была!»

Хорошо, что люди помнят мою сестру, помнят и знают ее

роли в кино, и смею надеяться, что действительно любят...

Людмила Мордюкова

Часть I. Вот так и живем

Река Уруп

Это единственное в моей жизни место, где я ощутила миг детства. Наша речка Уруп быстрая, горная. Помню, через нее свисала кладка – так назывался натянутый на проволоке длинный мостик. Никто никогда не ремонтировал его. От дыр на месте отсутствующих досок кружилась при переправе голова, поэтому из станицы Отрадной в хутор Труболёт ходили лишь в случае крайней необходимости. При переходе мостика мы, дети, держались лишь за один железный провод, поскольку до другого еще не дотягивалась рука.

Главное наше обиталище было, к счастью, под кладкой, по эту сторону Урупа. Здесь и теперь есть белая глина, а вернее, голубая. Не знаю даже, как ее определить правильно, но это что-то вроде пластилина. Тут и было наше «птичье» сборище, наш «птичий базар». Мы сидели на берегу целыми днями и лепили: рисовать ведь было нечем да и не на чем. А в детстве всегда тянет к рисованию. Лепка заменяла любые занятия по детскому творчеству. И посегодняя с острова видны чьи-то макушки и острые коленки.

А как ноги затекут от долгого сидения, так с наслаждением опять в Уруп – и косточки хоть и молодые, но с удо-

вольствием распрямляются. Поплескаться ведь тоже великое счастье. И тогда, да и теперь тоже, вылепленные бублички и коники оставлялись на ночь, но большие «объекты» нарочно затапывали ногами: война. Хоть какая-то, но война. Затоптать «этих». А «эти» считали за счастье быть на Урупе, не помнить причиненного им зла – и опять ляп-ляп, шлеп-шлеп по глинке голубой ладошками...

На той стороне, куда кладка ведет, в начале лета зацветали полевые цветы «лазорики», похожие на несложный по форме мак: пять лепестков, а листья тонюсенькие, как у укропа. Вот тут лепка прерывается на короткое время и все тянутся на тот берег за «лазориками»...

Однажды осенью мама повела меня в магазин купить туфли. Не хотелось надевать их на пыльные ноги, и мы просчитались: не померив, взяли тесноватые. А туфельки парусиновые, пахнут бумагой и клеем.

– Завтра, доченька, ты пойдешь в школу, – сказала мне мама.

Как ношу воду из колодца или хожу за солью, так и в школу пойду – надо выполнять мамин наказ. Зашли еще в другой отдел сельпо, и мама купила мне пальто с байковым зеленым верхом.

– Это на зиму. Ничего, что ладони и пятки прикрыты, – на вырост покупаем.

И действительно, кругом полыхает огнем осень, а пальтишко ни к селу ни к городу бьет по пяткам. Хоть и тоже пах-

нет новым, незнакомым магазинным запахом, как когда-то матросочка и лента, однако это ватное одеяльце в форме пальто мне хотелось как можно скорее скинуть.

Утром надела новые туфли и, пожалев маму, не сказала, что они, как кандалы, сдавили мне ноги.

Надо было на размер больше, да куда там: разве об этом могут заявлять те, кому покупают, да и кому заявлять – маме, мамочке моей!

Словом, прощай, белая глина...

Направили меня в ШКМ, школу колхозной молодежи. Мне как «молодежи» было тогда неполных шесть лет. Это не ошибка: школа была одна на всю станицу, и нас, маленьких, – тоже туда.

Страх охватил! Первый в жизни. Длинный коридор, фикусы возле окон... Взялись за руки и вошли парами. На маленьком возвышении появилась тетка и вдруг крикнула как дурная:

– Дете!

Я увидела, как у нее заходила ходуном нижняя челюсть.

– Дете! Сегодня вы вступаете... – и т. д.

Мы стоим на тряпичной дорожке и слушаем все это, а рядом с нами матери-общественницы. Вообще-то дорожка из тряпок лучше, чем дорогие ковры. Теперь они все больше синтетические и бьют током, а те не били.

Дорожка дорожкой, а тетка та проклятушая все орет и орет. Но ее не унять, у нее такое дело, как мое – стоять, взыв-

шись за руки с каким-то мальчиком, и молчать. Нижняя челюсть ее ходит ящиком вперед-назад, вперед-назад. Я заплакала от этого крика и от дорожки, где все рядом стояли, от фикусов, светящихся утренним солнцем, и от потной руки мальчика, который тоже был нем от происходящего. «Мама, мамочка, – подумала я, – зачем нам это с тобой?» К счастью, был дан сигнал разойтись по классам, и я вздохнула с облегчением оттого, что уходила от этой крикуньи с бородавками.

Мы вошли в класс. Я не выпускала потную руку мальчика, а он мою. Сели. И тут я подумала, что рубить топором не будут – не белые же. Пересажу, а там и к маме – веселой, с песнями под гитару, к моей двадцатипятилетней мамочке, которая меня заберет навсегда отсюда. Но не тут-то было: та крикучая тетка вошла именно в наш класс. А я-то уж собралась сбросить туфли, что заковали мои ноги до опухоли. Смотрела я на учительницу, слушала ее, заходящуюся в крике, и наблюдала, как ящиком движется ее челюсть. Когда она произносила задумчиво промежуточное «э-о», перед глазами вырастала другая картина.

Откуда же взялось чувство спасения? Вместо всего ненавистного мне в тот момент увидала я белый Уруп, голубую глинку, «лазорики» и решила с учебой покончить – навсегда.

Зазвенел звонок, и, не сказав ничего своему партнеру, я выплыла из класса и из той истории – и на Уруп! Вот где радость, вот где блаженство! Пускай они себе там учатся, а тут детишки пятилетние, не подозревая, откуда я к ним пришла,

ляп-ляп – по голени, ляп-ляп – ладошками, резвились вовсю на воле. С дремотой долгожданного избавления пристроилась возле них, сунула портфель под голову, туфли, давно снятые, положила рядом и вкусила кусочек рая: они лепят, солнышко светит, подальше от берега забрасывают ведра в Уруп женщины, пришедшие за водой. И я тут, где мне так отратно и такой покой на душе...

Отец поискал меня недолго и забрел к реке. Он не стал будить меня, только взял туфли: он не готовил мне кару – лишь хотел направить неудавшуюся ученицу на путь истинный.

Я проснулась, когда уже роса упала, и пошла домой.

– Где туфли новые? – спрашивает мама.

Не хотелось огорчать ее, потому как можно спокойнее и по-свойски я ответила:

– Туфли отобрали у всех, завтра одинаковые будут выдавать.

Не знаю, было ли у родителей желание наказать меня, только утром, открыв глаза, я увидела туфли так близко, что мне оставалось лишь сунуть в них ноги и идти туда, откуда я вчера так предательски бежала.

Я заплакала и тихо заползла опять под одеяло. Мама погладила меня по голове и сказала:

– Доченька, нам всем на работу пора, и мне, и папе, и тебе надо идти.

Так я стала ученицей. Походила, походила, и... что-то мне поднадоело. И вот вместо школы однажды шмыгнула в сель-

по, в отдел игрушек, да так и простояла там все четыре часа. Уж что перед моими глазами только не мелькало! Ключик снизу вставишь – и пошла лаять собачка, или через весь магазин запрыгает лягушка. Запомнила дядьку, который палкой толкал вперед большую бабочку, и она, хлопая крыльями, двигалась по полу. Брови у него подняты в блаженстве, а глаза озорно улыбаются. Он и не заметил, как локтем не дал сыну перехватить палочку.

– Ну, пап, – заплакал малыш, и отец с сожалением отдал игрушку сыну.

Когда я увидела школьников на улице, тоже пошла домой.

– Нонка, а ты где была? – спросила одна девчонка.

В ту же секунду я увидела идущую с ведрами маму. И чтобы раз и навсегда прекратить ее еще не начавшийся крик, бросила портфель под колеса грузовика. Шофер не старался объезжать, но и не наехал на портфель. Все увлеклись, разбирая мою выходку, но мама, не обратив на нее внимания, исчезла в камышах, громыхая ведрами.

Однажды услышала я незнакомое слово «библиотека». Что же это такое? Оказывается, там книжки дают. «А зачем они?» – подумалось мне. И от своих деваться некуда. Любопытство все же привело в хатку под камышовой крышей, на которой было выведено «Изва-читальня». Что же я вижу? Все в очереди стоят за книжками, а одна девочка сидит в центре хаты и тархтит содержание той книги, которую принесла для обмена. И если не расскажешь, другую не дадут.

Подходит моя очередь, и библиотекарьша дает мне «Казаков» Льва Толстого. Дома я сразу на печь – и читать. Господи, буквы есть, а слов нет! Есть слова, а куда тянут – ничего не понимаю. Набираю буквы, слова, но не двигаюсь с места. Кручусь, кручусь, а все третья страница. Так и не перевернула ее на четвертую, заснула. Отдала книгу девочке с просьбой вернуть ее в библиотеку – и больше ноги моей там не было, пока не пришла пора сдавать экзамены на аттестат зрелости. Читать для меня было тогда великой мукой, – но какая же любовь к книге пришла позднее, уже во время учебы в институте! И эта неизбывная потребность читать все растет и растет и по сей день.

Но вернусь к школе. Как же я ее ненавидела! Тоска вселилась в мою жизнь: только и старалась побыстрее на топчан, чтобы спать. Мама будила, приговаривая:

– А ну-ка, доченька, давай все же ноги помоем.

Мыли холодной водой в тазу. Сонная, я совала ноги в таз, сдерживая слезы, повиновалась.

– Солнце еще не село, а она – спать! То домой не загнишь, а тут на тебе!

Мама, присев на корточки, бойко мыла мне ноги мочалкой из кукурузных листьев. И тут я уже просыпалась окончательно не только от ледяной воды, но и от одной лишь радости видеть мамину короткую стрижку, от прикосновений ее мягких дорогих рук.

Выпив парного молока с лепешкой, я подсаживалась по-

теснее к столу и клала на стол свой портфель.

– Так-с! – приступала мама к изучению заданий в дневнике.

И пусть была поздняя ночь – уроки выучивались назубок. Я учила их с удовольствием от сознания того, что рядом моя дорогая мама.

Потом я ждала ее в постели, а она писала что-то свое по работе колхоза...

Однажды я взяла из ее папки паспорт кобылы и принесла в школу. Когда крикливая учительница шла по коридору, я при всех бросила паспорт кобылы ей под ноги и спросила:

– Кира Васильевна, это не вы потеряли?

Она наклонилась, молча прочитала бумагу и кивком пригласила меня в класс.

– Собирай книги – и марш отсюда! Я тебя исключаю из школы.

– Что?!

– Иди и скажи матери, что ты теперь исключена.

– Слава тебе господи! – буркнула я.

Учительница вышла, продолжая на ходу доедать початок вареной кукурузы. Но чувство свободы повисло в воздухе как-то очень зыбко. Куда мне? Побрела к дому и села на большой теплый камень возле калитки. Мамы не было. Сердце билось тревожно: куда я теперь исключалась? Разве можно без школы? Вижу, мама торопливо идет, а в правой руке у нее большая черная тарелка со шнурком.

– Ты чего как дохлая? Пошли музыку слушать!

Оказывается, нам провели радио. Мама торопливо воткнула штепсель в розетку и... «С подружками по ягоду ходить...» – меня подбросило чуть не на метр. Я была очень эмоциональной, и так неожиданно впервые меня шарахнуло, как бомбой; от чар неведомых ранее звуков и от страха при воспоминании об исключении из школы меня всю затрясло.

– Что с тобой?! – закричала мама. – Малярия, что ли? – Она прикоснулась губами к моему лбу. – Жару вроде нет... Что с тобой?

Я обняла ее и так зарыдала, как еще не плакала никогда. Я рассказала маме об исключении и о том, что выкрала у нее из бумаг паспорт кобылы.

– А-а, пошли они... Ты еще маленькая. На тот год пойдешь. Как раз тебе исполнится семь.

Мама поглаживала меня по спине, музыка играла – было хорошо и счастливо.

– Так ей и надо! Чтобы учительницей быть, надо еще сначала выучиться на нее... А она где только не работала! – вдруг рассмеялась мама.

В моем детстве как бы полное отсутствие отца. Наверно, потому, что был он постоянно в военных лагерях. И там, я думала, будет всегда. Мне не повезло: я не любила своего отца. А вот мама... Все у нее бегом, все у нее получается – блины до рассвета и потом работа в райзо. Еще она очень любила писать плакаты: как плакат, так какое-то свершение.

Я ей помогала – квасила краску, расстилала по полу красный материал, на котором мамочка, стоя на четвереньках, писала, как надо жить. А кто лучше нее знал об этом?!

– Давай, доченька, побыстрее – надо до приезда папы успеть. Он не любит, когда я крашу или пою.

Ах, что за жизнь! Я еще была мала, но мой музыкальный слух, унаследованный от предков мамы и от нее самой, наслаждался, когда она пела. Ее волшебный альт, как говорится, сводил всех с ума, и, конечно же, меня, влюбленную в нее – такую подвижную, такую революционную. С постоянным животиком, в котором были мои будущие братья и сестры, мама бегала, как с почтовой сумкой, и делала все для нашей новой, любимой тогда всеми советской власти. Меня она тоже без труда научила любить советскую власть – ведь это мамина власть, она так хочет, и я так сразу захотела.

Помню, однажды, когда мне было лет девять, приехал папа, военный, красивый. У него были такие маленькие кисти рук. За столом сидели еще какие-то дядьки, потом они ушли. Мама отправила меня на печь, а сама, раскрасневшись, стала говорить отцу, как ей хотелось бы создать колхозную оперу. Он слушал ее снисходительно. Мама, не выдержав, запела арию из «Наталки-Полтавки». Красиво, вдохновенно. Отец вежливо выдержал паузу и сказал:

– Теперь вот насолим огурцов, помидоров, капусты, чтоб на зиму все было...

Я чувствовала: мама недовольна тем, что отец рано разо-

гнал гостей, – ей хотелось петь. Я заснула с любовью к маме и с надеждой, что действительно справлюсь с арией Иванушки-дурачка из оперы «Сватанье на Гончаривцы». Вдуматься только! Зачем в колхозе опера? Это ведь сложно и недоступно для всех, но мама выбрала именно оперу. Она, конечно, сама дирижировала, глядя на партитуру. И ничего здесь нет невероятного: мама с девяти лет пела в церкви на клиросе, а где может быть более чистое звучание, чем там, где люди поют от любви, бесплатно. «Как все знают, ноток всего семь штук», – пояснила она мне, и я навсегда их запомнила, как позднее таблицу умножения, которую тоже выучила благодаря маме.

– В кого она? – спрашивала приехавшая в гости бабушка, мама отца. – Чего ей надо?

Это про меня. А я состояла из клеток и жизни своей матери, я была ее дочерью. После меня родилось еще пятеро. И они, вырастая, все говорили маме: ты больше всех любишь Нонну.

– Отрежь любой палец, – любила повторять она, – какой из них больней?

Они понимали, но не могли еще осознать какой-то неуловимой духовной связи, существовавшей между нами. Мама меня любила не за то, что я была маленькая и хорошенькая, а за то, что я понимала ее больше всех, была ее как бы тихим стражем. Мне кажется, мама искала кровного союзника во всех разгоравшихся делах и видела таким союзником только

меня.

Помню, когда папанинцы высадились на льдине, все кругом кричали от радости. Мама подучила меня кричать громко, на все поле. Да, немного запомнила я из того дня. Но помню, как мы поехали на бидарке (двухколесная, облегченная повозка с рессорами) в первую бригаду, поставили табуретку перед собравшимися колхозниками, ожидавшими начала вечера (сначала – политическую часть, а затем – танцы), – после мамы выступала я.

Потом меня со скамейки сняли и преподнесли от колхоза кулек пряников в виде разных фигурок – коников, зайчиков, курочек, облитых чем-то белым и сладким, а внутри было варенье.

После выступления во второй бригаде сели в телегу. Я ела уже неохотно, но съела все до последнего пряника.

В третьей бригаде тоже выступили хорошо, после чего я упала лицом в сено и, не зная, куда меня везут на этот раз, заснула.

Это волшебное слово «фуэте»

В детстве меня окружала привычная жизнь довоенного села, и ничто, казалось бы, не доносило сведений об искусстве, разве что огромный черный репродуктор-«тарелка», который рассказывал нам о неведомых далях, где бурно и светло жили таланты, об их вдохновении, радостях, неудачах. Но и этого хватило, чтобы зашевелилось, задвигалось во мне что-то, что после стало призванием актрисы. Помню, как по радио передавали «длинную» музыку (так я называла тогда классические произведения). И уж не знаю, как это случилось, но музыка заставила меня почему-то накинуть на себя кусок марли и, глядя в зеркало, в одну точку, идти и идти вперед к нему. Музыка, медленное движение, собранный взгляд — и рыдания подступали к горлу. Впервые почувствовала, что это какие-то особые рыдания: они доставляют радость. Незнакомое доселе, но сладкое чувство. Так во мне родилась и выплеснулась впервые моя потребность, необходимость быть актрисой. Мне было в ту пору лет одиннадцать-двенадцать.

Но вот наконец первая встреча с живым искусством. Людей, приезжающих на лето в наши края, теперь называют отдыхающими или «дикарями». А в те годы они именовались курортниками. Я прослышала о том, что курортники будут давать концерт. Примчалась и во все глаза глядела, как ладно

они разложили помост и как ловко натянули занавес – получилась сцена. Начался концерт. Много в нем было, видно, не по годам мне. И вдруг, постукивая мысочками пуантов, на сцену выплыло маленькое чудо! В балетной пачке с традиционным веночком на голове закружилась девочка моих лет. И снова музыка и движение откликнулись во мне тем же счастливым удушьем – хотелось разрыдаться. Я ощущала невесомость девочки, почти птичью ее устремленность к полету.

Начинающая балерина была, казалось, переполнена счастьем, не жила, а как бы благословляла все и вся своим неописуемо гармоничным телом, красотой каждого движения. Я и не думала, что мне суждено будет увидеть такое. И конечно же рассердилась, когда на сцену вышел «дядько», такой же белый, схватил девочку и стал размахивать ею, опрокидывать ее и ловить. Это было очень «непочтительно». Но ничто не могло затмить впечатления от музыкального полета белой птицы...

Артисты стали увязывать веревками свое имущество, погрузили его в автобус и уехали. «Вот оно, искусство!» – думала я. И запечалилась – от разлуки с ним.

Детство берет свое: скоро печаль сменилась страстным желанием немедленно создать себе одежду, подобную той, в которой танцевала юная балерина. Снова пошла в ход марля. Сшила я подобие пачки, надела ее и до сих пор помню щемящее чувство причастности к тому чарующему таинству

балета.

Шло время. Маленькая балерина утратила реальность своего существования во мне – ушла в далекую зону памяти. Но осталась как зов в страну мечты, где и мне суждено будет жить. Уже в седьмом-восьмом классе я твердо знала, куда пойду после окончания школы. Знала, что это будет не балет, но балетная жизнь осталась для меня самой притягательной, придавала силы, звала к служению красоте.

В годы войны я встретилась с эвакуированными ленинградцами. Это тема особая, очень важная в моей жизни, но сейчас хочу выделить из нее только те новые потрясения, которые связаны с балетом. Представьте себе большой старинный, дореволюционной постройки амбар с оконцами на уровне земли, так что казалось, будто он врос в землю. Худенькая женщина, покрикивая и прихлопывая в ладоши в такт отсутствующей музыке, стоит в кругу ленинградских мальчиков и девочек. Идут занятия «по классу балета». Я с другими любопытствующими, лежа на животе, гляжу в крохотное оконце, загипнотизированная зрелищем рождения чуда. Уже не приходит в голову сшить себе пачку, зато неудержимо хочется овладеть одним коленцем, которое худенькая женщина называет волшебным словом «фуэте». Фуэте отнимает у меня сон, я с трудом дожидаясь начала занятий «по классу балета» и спешу к амбару. Ну где же оно, мое заветное фуэте? Я должна овладеть им! Изучаю суть быстрого кружения вокруг себя, переношу тяжесть тела на правую

ногу, стараюсь подтолкнуть корпус вращением руки и повести вперед, балансируя. День и ночь пыталась освоить фуэте. И выучила-таки! Разумеется, говорю об этом с юмором, поскольку речь идет о моих тайных балетных упражнениях.

Но, думая о большом балете, о его роли в моей жизни и жизни окружающих меня людей, я испытываю чувство несказанного уважения и восхищения. Прежде всего – трудом балетного артиста. Каждый раз, видя на сцене балет, я вспоминаю тот вросший в землю амбар, худенькую женщину и ленинградских блокадных детей вокруг нее. Я училась работать у них и всякий раз, когда возникает искушение отвлечься от домашних репетиций, упрекаю себя их преданностью своему искусству, труду ради этого искусства. Знаю, как много надо вложить, чтобы твое актерское деяние стало для других Зовом, таким, какой я испытала в детстве при встрече с маленькой балериной.

Ленинградцы

И все-таки был в моей жизни момент, когда я ненавидела свою маму. И ее подагру на левой ноге, и то, что она шибко много знает, и то, что она лучше всех. Все у нее лучше всех, а сама все брюхатая и брюхатая. А нянчила я! Почему я ее все-таки люблю? Ведь это совсем не обязательно. Ведь крикнула же в сердцах моя подружка своей матери: «Проститутка!» И кинула в нее тарелкой. Правда, мы тогда истинное значение этому слову еще не придавали: это была угождающая всем, вертлявая, крутящаяся в нашем представлении, как на шарнирах, бабенка.

– Проститутка! – крикнула и я матери в лицо.

– Хорошо, не нянчи. Жить поедешь к отцу.

Но я никуда не хотела ехать; я не знала, как живут без матерей. И чтоб меня не отправили к отцу, я, налив в бутылку козьего молока и положив хлеба в узелок, пошла по наказу мамы за шесть километров полоть картошку на нашей делянке. Раньше ходила туда как бы из одолжения – пожалуйста! Но сегодня, сегодня... Когда привозят ленинградцев – она опять отправляет меня, чтоб я ничего этого не видела. Дура! Ненавижу!

Утро... Как будто какое-то доброе существо кладет на твои плечи свои мягкие руки, и тебе так хорошо (правильно в Германии построена жизнь: подъем в три часа утра, а сон

в восемь вечера). Вот если б все страны, думалось мне, не занимались бузой, не махали бы кулаками друг на друга, а делились бы своими лучшими делами и открытиями...

Иду. Кроме дикого чеснока, стрелчатого, как струна, ничего с собой не взяла. «Только моя мать, – все еще бурлю я, – такая злая и черствая, могла меня в этот день отправить полоть картошку. Я ее теперь любить не буду. Пускай любят другие братья и сестры!»

Полола картошку-американку, длинненькую такую, – она и сейчас на Кубани лучше всего растет. Кубань, она ведь, знаете, какая капризная на урожай на любой. То разгуляется, как девка в широких юбках с задранном подолом, то сгорбится, как старуха, пожухнет, и сухоей тут как тут, протяжный и нудный, аккомпанирует горю-неурожаю, подсвистывает по-разбойничьи.

Время к обеду, уже половину прополола. Поела и легла отдохнуть, по примеру взрослых, чтобы урвать полчаса дремы. Лопухом закрыла лицо и «подложечку» – так делают все, когда сон валит на солнце. Просыпаюсь одуревшая от сна и зноя, но с радостным чувством, что там, за шесть километров, приехали ленинградцы! Стала полоть дальше, чтобы скорее домой. Прополола хорошо, добросовестно, назло матери – пусть проедет завтра на своей бидарке по полям, царица чертова, посмотрит, как я умею работать. Допила воду, припрятанную в кустах, и пошла. Спина обгорела, болит, конечно, зараза.

Солнце уже садилось. Сполоснула ноги в ключевой воде, умылась. И в предчувствии чего-то очень хорошего снова в путь: кажется, там, впереди, счастье. Ленинградцы уже там!

Герку, козу нашу, уже подоил кто-то, мать лепит вареники, сестры и братья с нетерпением ждут ужина и мучают собаку – кидают кверху и ловят. В станице тихо, никаких следов ленинградцев. Поставила со стуком тятку в угол в сенцах, чтобы обратить на себя внимание, и вошла в хату.

Вообще-то мне уже надо собирать вещи, чтобы ехать к отцу. Обращаюсь официально:

– Мам, когда мне ехать: с ночи или утром?

– Ты здоровая кобыла, доедешь хоть с ночи, хоть утром.

– Я спать хочу. – И улеглась на свой топчан, нарочно выставив зажатую спину. Казанской сиротой притворилась, не претендуя даже на вареники, – блюдо во все века праздничное.

Проснулась оттого, что ночью залезла ко мне на топчан Талька (Наташка) и схватила за сожженную спину.

– Ой! – заорала я на всю хату.

– Ты чего там? – поднялась мама.

Тут уж я вовсю разрыдалась, собрав все свое мнимое и истинное горе в одно целое. Мама встала, зажгла лампу и подошла ко мне.

– Батюшки! Спина в пузырях... Придется подлечиться, а потом ехать. Лежи, сейчас намажу кислым молоком.

Я понемногу затихаю.

– А теперь вставай, ешь вареники.

– Я поем... – К чему я это сказала? Ох, и пошли же варенички хорошо!

Вдруг шум грузовика – и сразу стук в оконце.

– Петровна, едут!

Мама, наверное, ждала ленинградцев и, накинув шаль, вышла.

«Вот не пойду и даже не посмотрю на них», – решила я и тут же с тарелкой подскочила к окну, прикрутив фитиль в лампе, чтобы было видней. Машина крытая стоит, урчит, но никто из нее не выходит. Когда подошла мама, бригадир протянул ей бумажку. И после этого – прощай, ленинградцы! – грузовик с силой затарахтел и стал заворачивать от правления в сторону. Глядь, останавливается у Кравченковых – у калитки хозяева. Из грузовика выходит большая, грузная женщина с маленькой девочкой. Грузовик поехал дальше – к Сидоренковым, Гуляевым, потом куда-то мимо домов и скрылся в темноте.

Входит не торопясь мама, вешает шаль и, зная, что мы не спим, говорит:

– Ну и подзадержались, ничего себе.

– Мам, а к нам завезут? – спрашивает Талька.

– Да куда же! Нас вон сколько в такой хатке! Сейчас их покормят и уложат спать.

Приехали все-таки! «Жить и работать», как говорила мама, когда мы еще не были в ссоре.

Не могу уснуть. Ночь вобрала в себя таинство прибытия, поселения в наших местах не простых людей, а, наверное, совсем, совсем других, особенных, спасенных от голодной смерти. Мама говорила, что каждой семье, куда попали ленинградцы, дали записки с указанием, как их надо кормить и чем. Те, у кого они будут жить до выздоровления, могут выписывать в колхозе молоко и пшеничную муку. Кукурузный хлеб ленинградцы еще не осият.

Утром мама помазала мне спину еще раз и велела отнести Кравченковым козьего молока. Ну ни каплюшечки станица не изменилась, однако внутри что-то уже вырастает, действует... Нету их, приезжих, но они где-то здесь! С такими своими конями (Аничков мост) и с такими домами (что удавалось мне видеть на картинках) – и чуть не умерли! Это какая-то нелепица. О блокаде мы тогда еще не знали, мы думали, что их разбирают по селам, чтобы немцы не захватили. Это ж ленинградцы. Их разве можно немцам отдать?!

Вот ведь что интересно: школа, чьи-то устные рассказы, фильмы зрительно создают в нашем воображении то или иное явление. Или еще вот говорят, что человек когда-то уже жил на свете один раз и часто видит те места, где как бы жил в той, прошлой жизни... Какую-то улицу или город. Я всегда видела во сне Ленинград, знала его и отчетливо представляла, как родной город. Он занимал меня всем, даже своими наводнениями, за одно из которых я, прочитав отрывок из «Медного всадника», получила пятерку; манил меня свои-

ми музыкально звучащими, такими незнакомыми, но влекущими названиями, как Смольный, Васильевский остров... Помню, пела под гитару, сама себе аккомпанируя, в школе одну песню, где были такие слова:

Но вот войной нагрянула
Фашистская орда,
Он защищать отправился
Поля и города.

Однажды этот госпиталь
Полковник навестил,
«Откуда ты, отчаянный?» —
Он ласково спросил.

И с неподдельной гордостью
Ответил гармонист:
«С Васильевского острова,
С завода “Металлист”».

Песня длинная, жестокая, у меня мурашки по спине бежали от всего, что было в ней.

А «Аврора»! Да мы же гордились ею по-настоящему. Смольный, Ленин, рабочий класс! Это было, конечно же, результатом патетических изысканий моей мамы в книгах и ее пересказов нам. До чего же мы любили город на Неве, который никогда не видели, и всё-всё о Ленине! Помню, в зале все плакали, когда я, еще совсем маленькая, пела одну пес-

ню, тоже длинную:

У кровати мать рыдает,
Сын ее в бреду.
И лепечет ей малютка:
«Мама, я умру».

Дальше все подводится к тому, что мальчик

Видел черные знамена,
Видел Ильича.
«Видел я, как хоронили
Нашего вождя...»

Всегда в этом месте люди начинали вытирать слезы. Это было наше заветное семейное преклонение перед революцией, Лениным, Смольным. И вот оттуда, из того края, который мы так любили, привезли обессиленных людей. Они лежат теперь замученные, едва спасшиеся от голода. Да разве же мы их не подкормим? Не поднимем?!

Стучу с трепетом в хату к Кравченковым. Вообще-то я теперь удивляюсь, почему постучала тогда, ведь у нас не принято было стучать в дверь – сразу открывают и входят.

– Входи, Нонк...

Вхожу.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте! – отвечает бабка, которая уже давно не

выходила на работу.

Поверх одеяла, опершись локтем на постель, лежала одетая девушка лет пятнадцати.

– Здравсте! – произнесла она и облизнула ярко-красные губы.

На лицо симпатичная и не особо чтоб худая, только вот синячки под глазами. Из-за спины выглядывал мальчик лет пяти, ко всему, видно, безразличный. Впечатление было такое, будто у него что-то болело внутри.

Что бы я не отдала, чтоб мне сказали: «Садись!»

– Вот я молочка козьего принесла...

– Спасибо! – Девушка еще раз улыбнулась, сверкнув белыми зубами, и обратилась к бабке: – Бабусь, че там, козье-то можно?

– Я неграмотная. Нонка, прочитай ты.

Беру бумажку, сажусь и читаю. Очень интересно: можно все маленькими дозами... не по часам, а по желанию... кроме кукурузных изделий, жирных продуктов.

– Вот интересно, – увлекаю девушку в разговор, – кто-то же составил!

– «Пшеника, пшеника, кому пшеника!» – со слабым смехом сказала девушка. – Мы были до войны в Одессе с мамой и папой, там все так кричали. Я любила «пшенику», а сейчас вот, видите, нельзя...

– Ничего. Когда поспеет молодая кукуруза, вы уже будете ее кушать. А этот мальчик твой брат?

– Нет, мой спутник... Спутник, представься, как тебя зовут.

Мальчик уткнулся головой в подушку и ничего не ответил.

– У него то имя, которое вы дадите. Петя? Он кивает головой. Саша? Тоже кивает. Ему кажется, что под этими именами подразумевается другой мальчик.

– А если скажешь «Люся»?

– Что вы! Он так начнет активно отрицать – то девочка!

– А вы не глотнете несколько глоточков молока?

– Глотну.

– Отстань! – остановила меня бабка. – Вставать не велено.

– Не велено? А я из ложки попоить могу.

– С удовольствием! Только налейте мне в чашку, я устала, извините, передохну. – И опять легла.

– У-у! – пальчиком показал малыш на кружку и, не отрываясь, стал пить.

– Ну хватит, – снисходительно сказала девушка.

Видно, она была знакома с последствиями вредной для отощавшего организма манеры набрасываться на все съестное. У мальчика оторвали кружку, и он опять уткнулся лицом в подушку.

Я налила девушке молока в стакан, и она вдруг часто-часто задышала. Выпила половину, протянула остаток мне и уронила голову на подушку.

– Потом допью, спасибо.

Какая у нее челка... Густая, почти до бровей, это так красиво, ей очень идет. Наши же челку стригут до начала лба. Я теперь так же буду... А какой чемодан под кроватью, а пальтишко какое с мехом висит на гвозде! И юбочка на ней в складку, как на моей матросочке.

– Ну, я пошла! Бабушка, отнеси в погреб, потом при желании можно еще немножко.

Тут только я заметила, как красивая густая челка и алые мокрые губы не соответствуют высохшим ногам-палочкам девушки.

– До свидания!

– Заходите.

– А как же! – сказала я и вышла.

Бедненькие... Сколько они попереживали! Мы их выходим. Мама же сказала: «Жить и работать». Мама есть мама – она всегда вперед смотрит.

Недолго хатки стояли молчаливыми. Скоро во дворах стали появляться табуретки, люди рассаживались, грелись, смотрели на горящую летнюю плиту. И мы, несколько девушек, объединившись, решали, как будет действовать наша комиссия по разному еде.

– Не надо! – возражали хозяева. – У нас все есть.

Но они ведь не понимали, что нам не терпится со всеми познакомиться, и уж мало кто поймет, как южанину с Кубани приятно слышать твердую, звонкую русскую речь.

– А вы потихонечку носите, – предложила мама. – У нас

в тридцать третьем году голод был такой же, люди пухли от него, замертво падали, мы их подбирали и откармливали чем можно, хоть водой с валерьянкой, там тоже питание. В аптеке брали для этих случаев.

Ну вот, началась наша «ленинградская жизнь». Я, правда, поначалу искала среди них мальчика, который до войны приезжал к нам с родителями отдыхать. Я добуду любовь! Мне в это время безумно хотелось любить. И уж где-где, как не среди ленинградцев, он ждет меня. Сейчас понимаю, как много разных иллюзий добавляла, создавала эта жажда любить. А я была убеждена, что если можно влюбиться, то только в этих, с челками и благодарными ответами, в рваных, но нездешних маечках, в людей, не ценящих своих достоинств, но умеющих слушать других. Они были так спокойно мудры, что этим самым доводили меня до влюбленности в каждого – будь то девочка, или мальчик, или женщина. Я обезумела от этой любви к ленинградцам. Какое замечательное совпадение – расти в семье, где всегда культивировалась помощь слабому, и в юности получить сразу такой «акропольский театр», где драматургия задана сразу, а исполнение ролей немудреное – помочь людям.

Они потом, когда пришли силы, как-то примолкли, разочаровались в чем-то. «Выздоровление началось», – объяснила мама. Да, первое жгучее осознание отсутствия дома – это верный признак начавшегося выздоровления.

Смотрю, ребята сетку между деревьями натягивают, шап-

ку-ушанку вместо мячика подбрасывают – волейболят. И мы там сидим рядком, смотрим. Мама-царица с бидарки слезает и кидает им настоящий литой мячик. Наверно, в детском садике взяла. А он по размеру как головка новорожденного ребенка. Но это же лучше, чем шапка.

Ой, жизнь пошла! То волейбол, то разнос еды, то первое знакомство. А ведь нам хотелось знакомиться с мальчишками. У них на губах еще сухая корочка от болезней и недоедания, но они же наши, наши кавалеры. И мы будем их любить, пускай только одышка у них кончится...

Приехала мама из района и почему-то запретила волейбол, мячик забрала. «Капитан» команды почесал затылок и сел на землю.

– Ребята! – крикнула я, сдерживая слезы. – Давайте вечером соберемся и сказки будем рассказывать.

– А если сейчас? – спросил «капитан».

– Сейчас еще солнце не село.

– Ну и что? – с любопытством улыбнулся юноша.

– Но при солнце сказки не рассказывают.

Это был он!

Вечером мы уже сидели на краю канавы, тесно прижавшись друг к дружке. Принесены были рваные тряпки для ленинградцев, а сами мы прекрасно уместились на траве-спорыше. Это такая стелющаяся травка, которая растет везде: и под колесами паровоза, и на пешеходных дорожках, и под цистерной керосина.

А где же моя любовь? Так и будет по-маминому – стану выхаживать, дружить, жалеть, кормить... Не-ет, «капитан» отмененного волейбола лежал рядом и глядел на меня. Он, он моя любовь! Всех их загнали по хатам спать, а мы, свои, еще сидели, чтобы никто не подумал, будто бы из-за «капитанов» сидим тут...

Мама к отцу не отправляет и в поле окучивать картошку – тоже. Сидим в станице. Солнце вовсю жарит, и какая-то вокруг пустота. Вечером несу «капитану» гречневую кашу с молоком. Он делится с соседкой, живущей через сенцы. А!.. У них любовь.

На черта я им сдалась?! Разливаю кашу по мискам, как он велел, и со словами «до свиданьяца» ухожу.

– Айн момент, – говорит он.

Подумаешь! У нас в школе тоже учили немецкий, мы знаем, что это такое...

– Слушаю вас, – сказала я.

Он вытолкал меня легонько в коридорчик и закрыл за собой едущую на колесике дверь. Мы остались за дверью в тесном треугольничке коридора и молчали. Банка из-под каши мешала нам, он поставил ее на пол и положил голову на мое плечо.

– Я полюбил тебя.

– И я полюбила, – тороплюсь ответить я, чтоб, не дай бог, кто-то другой не успел захватить его.

Мы молчали. И это молчание было в моей жизни, навер-

ное, самым счастливым. Но кто же мог тогда подумать, что Саша через полгода будет годным к строевой, что заберут его на войну вместе с нашими односельчанами? Да когда ж ты кончишься, проклятая война? У нас тут так тихо и так хорошо.

Уехали ребята, так больше мы никого из них не видели. Праздник был таким коротким.

...И вот спустя тридцать лет я выступаю в зале «Октябрьский» в Ленинграде. За кулисы приходит записка: «Нонночка, мы с женой приглашаем тебя домой вспомнить все. Поужинаем и отвезем тебя в гостиницу». Но я не позвонила по указанному телефону: тогда я была девочкой, а теперь тетка – полустаруха. Нет! Вы с женой вместе старились, вместе и любуйтесь друг другом, а я не покажу вам вблизи ни свое лицо, ни мысли, ни разочарование в чем-то своем, сугубо личном.

Некоторые из ленинградцев остались жить у нас навсегда. Интересно было слышать, как мать на чистом русском языке кричит дочери:

– Галя, Галя! Загоняй цыплят, коршун летит!

А Галя, заигравшись, отзывается издалека:

– Шо?

Дети стали абсолютно точно говорить по-кубански, лишь кое-какие вещицы так и остались им напоминанием о Ленинграде. У кого фибровый чемодан, у кого платье из крепсатина или сумочка с цепью. Хорошо помню, как однажды

мы с подружкой сняли цепь с ходиков и нацепили ее на сумку. Тогда же впервые я увидела муфту. Но главное, что мы взяли у ленинградцев, так это умение вязать кофту или юбку. Носки и варежки вязать мы могли, а вот кофты или юбки – это уже открытие.

Как только появилась первая возможность вернуться в Ленинград, они тут же бежали в свой северный край. Да неужто мы вас не ласкали, не любили?! Но все равно домой, домой, в родной Ленинград...

Дети и горе

Самое жгучее и тревожное чувство вызывали во мне дети до пяти лет, которые каким-то образом были не такие, как все их сверстники.

Были и теперь есть дети пугливые, послушные, застенчивые, голодные, оборванные. Они обычно молчат, общаться не желают, спросишь у такого о чем-нибудь, а он лишь головенку набок – и стоит таким бычком. Бывало, в войну покажешь ему хлеба, он слюнку проглотит, а не берет. Бери! Молчит. Насильно возьмешь его ладошку, вложишь хлеб или кусочек сахара, пальчиками замкнешь, а он вдруг как разрыдается, да так горько, а угощение не разжимает. «Ухожу, ухожу, не плачь». Ухожу. Потом подгляжу: он повсхлипывает и потащит в рот даденок.

Разговор идет, конечно, о детях, которые растут в бедной семье. Это была моя слабость – дети-старички.

На всю жизнь запомнила выражение лица раненой девочки лет четырех. Летом 1943 года в Солдатской балке полицаи всю ночь расстреливали коммунистов и евреев, вернее, семьи коммунистов и евреев. И вот в ночи девочка, раненная в шею, отползла далеко от балки. Утром чья-то лошадь встала на дыбы, не желая ехать дальше, как ни хлестал ее хозяин. Почувяв неладное, он сошел с телеги и...

– Батюшки-светы!

Подошли несколько человек и видят: сидит на земле девочка-еврейка, склонив голову набок, – волосы и платье так слиплись от крови, что сковали ее всю. Ни слезинки, ни звука, только глубокомысленный взгляд: дескать, вот такая я, что хотите, то и делайте. Это было по пути на УЗОС (до сих пор не знаю, что это означает), о котором и писать, и вспоминать страшно. Мы с мамой шли туда выменять какую-то барахлину на стакан муки. Да, много страданий приняли в те времена евреи и семьи коммунистов, но мне, как символ, запомнилась эта маленькая женщина без капризов, хотя лет-то было ей не более пяти...

И сейчас, когда я вижу в хронике детишек, которых достают из убежищ солдаты, их худые, изможденные личики, познавшие страдания и первую радость вызволения, я вспоминаю взгляд той девочки.

Когда наш колхоз «получил» больных детей, часть их мы лечили сами дома, а умирающих отправляли через кладку в Отрадную. Там установили суточное дежурство от каждой семьи. Настала и моя очередь. Вхожу в палату. Кислый запах, солнце. Лежат они, мои молчуны обреченные. Кое-кто следит за мной, но пищу не принимают: только «пить», «пить» – это было главным желанием. Один мальчик уже умирал и зубками так скрипел, как будто грыз сахар, жевал и хрустел. А глазки закатились, брови домиком, лоб морщинистый, как у старика. Ритмично качал головой вправо, влево, вправо, влево. Все тельце, вытянутое плетью, уже не участвовало в

жизни. Чайной ложкой вливала в рот воды то одному, то другому. Наступила тишина – зубы уже не скрипели. Я оглянулась на умирающего мальчика – он затих навсегда. Немцы в своем лазарете лишь для проформы выделили палату для больных детей: ведь они не дали им ни единой капельки лекарства.

Мой самый младший брат Вася родился в 1945 году. Он был как раз из таких детей-молчунов, рахитиков, землистого цвета. Мама уходила на работу и на добычу еды, дети в школе. А он, совсем маленький, садился на подоконник и ждал, когда ему в форточку на веревочке кто-нибудь чего-нибудь спустит. Вася до самого призыва в армию все никак не мог наесться: нальешь ему тарелку, он съест, вторую не хочет, но по привычке косится: а есть ли еще? Вот такие дети нам душу пронзили, и мы потом своим детям совали все и вся, как тем, некормленным и худым.

Мы всё умели: и работать, и дружить, и песни петь, и делиться последним, и понимать горе людское – все это было при нас, а вот одно – голод и беднота – осталось в памяти тверже всего. Помню я и голод тридцать третьего года.

Бегали мы по лужайкам да лазили по чужим садам, хоть и сорвать было нечего, потому что цвет только что опал, и все искали, что бы съесть. При любых временах и в любых местах обязательно находился домина молчаливый, закрытый, богатый. Жильцы в нем от людей прятались, а с черного хода на крыльцо кухарка время от времени ставила в тазу пище-

вые отходы нарасхват детям. Маленькие налетали, рылись, девочки, задрав юбочки, накладывали туда еды.

Те ж, кому к семи-десяти годам, не подбегают к такому тазу – неловко. И вот однажды мы играли в лапту, а кастрюля с недоеденным борщом тут как тут на крылечке. Мы остановились, перестали играть. Сочетание острого желания съесть суп и стыда от этого желания было невыносимо. Вдруг от забора отделяется белобрысый мальчик с чуть поднятой гордо головой. Он подходит к кастрюле, открывает крышку, серьезно смотрит на содержимое. Левая рука на талии, в правой – крышка. Не съесть борщ он не мог, тем более ложка внутри уже стояла. Рывком присев, он приладил кастрюлю себе на колени. Ну чего тут особенного! Сначала надо ложкой – вот так, вот так. Брови деловито сдвинуты. Ложкой заканчиваю вот так и еще вот как. Он ел, не наклоняясь к кастрюле, хлебал назидательно: чего, дескать, тут такого? Чего испугались? Теперь вот кость огрызу. Он с треском накрыл кастрюлю крышкой, отер тыльной стороной ладони рот и зашагал к забору. Вот, мол, как надо побеждать трудности! Кто его, кроху, учил человеческой гордости? Не подышать же с голоду, не быть таким водянистым пузырем, как вон те люди, что валяются под заборами.

Я еще маленькой была тогда, но помню, как люди вздувались, словно наливались водой. Шли, едва перебирая ногами, в поисках лебеды или крапивы. Глаза – щелки. А бывало, не выдерживали и падали. Помнится мне, как и я упала

от голода однажды. «Ой, что это я? Завалилась, что ли? Отвернитесь, не смотрите, я сейчас встану», – думала я, лежа на земле, но сил подняться не было.

Представляю, как некоторые режиссеры могут вполне бесстрастно изобразить такую сцену. Я, к сожалению, не такая. Попав в больницу, стонала, плакала от боли, да так, что надоела, наверное, всем.

Вот, к примеру, Г. Н. Чухрай был десантником и при первом ранении попал в госпиталь. Стонал в ожидании помощи, и вдруг один солдат, уже в годах, говорит:

– Ты чего стонешь?

– Боль-но.

– Нам тут всем больно, – внушительно сказал солдат.

Григорий Наумович прислушался к тишине палаты, переполненной ранеными, и «заткнулся» навсегда. Сколько было потом ранений – никаких капризов!

Вот что он рассказывал нам еще о войне на съемках фильма «Трясина».

– К примеру, приближаешься к немецкому госпиталю, слышишь стоны на все лады, а к русскому – мертвая тишина. Не стонал русский боец, даже и не заведено было... Ну, на операциях были животные крики, где без наркоза, где всего лишь стаканом водки утоляли боль при отпиливании конечностей...

Дети тоже как лакмусовая бумага: если попадают в эту область горя, где нет ни возраста, ни привилегий, ни эгоизма,

ни капризов, повторяют нас и в величии, и в падении.

Война и жизнь

Главное – это смирение с временным недоразумением явления чужеземцев. «Ну когда их долой? Когда?» – иначе и не рассуждаешь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.